

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



## ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

РАССКАЗ

Июньским утром на Красной площади стоял седой человек.

Площадь готовилась к открытию книжной ярмарки. Ветер от Москвы-реки хлопал фиолетовыми флагами и подолами длинных шатров, укрывавших торговые ряды. За час до начала ярмарки в дорожной сумке на колёсиках человек привёз последние номера своей литературной газеты, разгрузился у крошечного лотка и стоял теперь в проходе между рядами.

С осени 1993 года он ни разу не был здесь и вообще старался не ездить в центр, а теперь с ненавистью вглядывался в видневшийся слева шпиль Сенатской башни. Ему казалось, что там, в Кремле, оградившись крепостными стенами с бойницами, обитают волосатые чудовища из гнилой плоти, разорвавшие на части его страну, той проклятой осенью стрелявшие в его народ. Сейчас многое изменилось, но далеко не в той мере, как хотелось бы. Спасибо, что больше в народ не стреляют и перед Америкой не лебезят. В этом году, наверно, расщедрившись после Крыма, его Союзу писателей, четверть века выживавшему из последних сил, безвозмездно выделили лоток на всероссийской ярмарке. Решили подкормить, с ненавистью думал он, хотя бы, чтобы мы забыли ту осень. Или чувствуют, что кроме нас, патриотов, опереться им

---

*ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году в городе Салавате республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. М. Горького (семинар М. П. Лобанова). Лауреат премии им. И. А. Гончарова в номинации "Ученики Гончарова" (2013), премии "В поисках правды и справедливости" (2015), премии им. А. П. Кузьмина журнала "Наш современник" (2016), премии им. Л. М. Леонова журнала "Наш современник" (2019). Преподаватель Московского государственного института культуры. Член правления Союза писателей России. Живёт в Подмосковье.*

не на кого. Человек не верил власти, и в том, что он, бедный русский писатель, стоит здесь и стоит по праву, ему чувствовался вызов.

Неподалёку собирались люди, некоторых из них он узнавал — вот сгорбленный старичок, написавший повесть, которую раньше изучали в школе. Рядом с ним — женщина, ярко накрашенная, нервно сжимающая руки, — огромные залы собирались на её вечера в советское время. Пришедшие стихийно организовались, встали полукругом прямо в проходе перед лотком и принялись по очереди читать стихи. Человек примостился неподалёку и слушал, прикрывая глаза.

Справа внизу живота сильно и навязчиво болело. Жена с утра уговаривала выпить таблетку, но он отказался: в этот день нужно было сохранить сознание чистым. Ему хотелось верить, что опричники в чёрных бронежилетах сейчас отодвинут железные засовы, и на площадь хлынут люди, изголодавшиеся по настоящей литературе — а тут они, писатели, несломленные, вышедшие из забвения. И тогда не зря все эти годы терпели, издавали книги за собственные копейки, хранили правду. Может, этим и страну, дремлющую под глянцем, сохранили... Человек отходил к лотку, придирчиво осматривал, что выставлено в первый ряд, поправлял пачку своей газеты и опять возвращался к выступающим.

Опьянённые первым июньским солнцем, читали стихи с самозабвенным надрывом, хлопали сами себе. Продавцы соседних издательств с досадой косились на собравшихся, потому что те растянулись и заслоняли их витрины. А мимо шли посетители ярмарки, ускоряя шаг, и на всякий случай обходили шумное место, не понимая, что же празднуют эти люди.

Солнце поднималось над Москвой. Было душно. У резных деревянных домиков с едой и сладостями собиралась очередь. На большой сцене у Васильевского спуска началось представление для детей.

Один из знакомых писателей, холёный, с заячьей бородкой, подошёл к человеку и зашептал вкрадчиво так:

— Друг, убери ты из своей газеты статьи про Совок, ну, стыдно же...

И сразу душу смяли, как жестяную банку из-под газировки, чтобы занимала меньше места в мусорке. Раньше человек думал, что таким платят, но потом понял: нет, это просто однобокие, ограниченные люди. Они говорят: писатель должен быть вне политики. Но разве пушкинский Самсон Вырин — это не политика? Любовь к близким — разве не политика?

Человеку не хотелось отвечать, он обернулся, словно ища помощи. Но в толпе уже не осталось родных лиц. Незнакомая женщина что есть силы била рукой по дребезжащим струнам гитары. Рядом старик с грязными волосами в такт стучал клюкой. Человек хотел ворваться в толпу и кричать, что всё это страшная провокация, просто кому-то невыгодно, чтобы настоящие писатели имели выход к народу, и потому — хоть дали им лоток на ярмарке, но подослали сумасшедших дискредитировать русское движение. Но вместо этого заговорил с заячьей бородкой самым постыдным светским тоном:

— А я до последней весны курил сорок лет, представляете? Как Моисей водил несчастных евреев, то в одну сторону, то в другую, так и я, и даже усы у меня пропитались гарью, хоть сбивай, и в лёгких поселилась жаба. Но теперь всё, баста, теперь я другой...

И чувствовал, что произносит пошлость, но, как в кокон, закутывался в пошлость, чтобы не дать увидеть кровоточащее сердце. А потом пошёл вдоль лотков, продолжая бормотать что-то про себя.

Его тянуло в самую гущу, и он блуждал по книжным лабиринтам. Наткнулся на огромную растяжку со стилизованным Пушкиным и парой лощёных лиц растиражированных графоманов, плюнул на брусчатку. Шатнулся в другую сторону, а там — буржуйские кафе на первом этаже ГУМа: умирал бы с голоду, но ни за что бы не зашёл. Больше не поднимал глаза, не видел лиц, только руки. Эти волосатые руки тянулись к ярким картинкам с фэнтезийной или детективными. Им не нужна литература, в отчаянии думал человек, они не хотят работать душой, даже в книжном магазине ищут развлечения, чтобы занять остатки мозга, высосанного рекламой и политическими ток-шоу.

Четверть века они жили в заражённой стране, так что, наконец, и сами стали чудовищами...

Вырвался навстречу обжигающему ветру и устремился прочь, мимо лотов, шатров, мимо сцены, на которой выкрикивали глупости писклявыми голосами — даже в детей вливают теперь яд. На пути, как спасение, оказались Лобное место, Минин и Пожарский, а за ними — величественное тело собора Василия Блаженного. Вошёл под защиту его тени, прикоснулся рукой к тёплому камню колонны, и тот отозвался, как одушевлённый. Человек смотрел вверх на потёртые от древности ступени, ведущие в притвор, и думал: на этой паперти — настоящая жизнь, здесь ходил юродивый пушкинский Николка, здесь случилось гениальное — “народ безмолвствует”, тот красивый, могучий народ, а не эти с мобильниками.

Вошёл в арку, опустился прямо на бетонный пол. Ему казалось, что не орган в теле болит, а болит в нём вся жизнь. Почему я, как Пимен-летописец, не умер в конце великой эпохи, с горечью шептал он себе, где-нибудь в середине 80-х, здоровым человеком в расцвете сил, почему пришлось мне оплакивать русских людей, убитых прямо под открытым небом возле Белого дома, почему пришлось слышать о парнях, перемолотых в Чечне и на Донбассе, смотреть на кортежи с сытыми чиновниками, общее отупение и развал... Легко было говорить Пимену: “Описывай, не мудрствуя лукаво, всё то, чему свидетель в жизни будешь... войну и мир... государей... угодников святые чудеса”, — припоминал потёртые в памяти строки. А я не могу спокойно описывать, у меня душа разрывается. “Погасите лампаду, я останусь в подклети собора, мёртвый с моими святыми мертвецами...”

Внезапно начался сильный слепой дождь. Человек видел появляющиеся на брусчатке круглые тёмные плевки, но долго ещё не понимал, что происходит. Наконец, поднялся и стоял в арке, запертый стеной дождя. Вдруг заметил шагах в десяти молодую женщину в голубом платке. Та запрокинула голову, серьёзно и благодарно принимая ливень. Потом одним безотчётным движением стянула платок, так что длинные медные волосы растеклись по плечам и спине, и, кажется, рассмеялась. Ему был знаком этот смех, он томил и наполнял душу щемлящим предчувствием, будто звал его бежать куда-то на набережную и вдыхать сладкий запах ванили в волосах, перебирать пальцами медные пряди, целовать краешек стыдливо опущенного девичьего лица. Подчиняясь наваждению, человек шагнул вперёд и медленно пошёл, как в тумане, иногда вздрагивая согнутыми руками от ударов крупных капель.

Постепенно на душе прояснело, и перед ним опять распахнулось огромное пространство площади. Промокшие беззащитные мальчики, лет по двадцать, в полицейской форме стояли у опустевших рамок металлоискателей. Навстречу потянулись красивые мокрые люди и почему-то улыбались, человек вдыхал их лица, как свежий воздух, и каждому улыбался в ответ. И уже не знал, явь это или сон, и казалось, рядом голос из динамика поёт честную весёлую песню, а впереди вся его молодость и жизнь. Иногда пробуждался и понимал, что это всего лишь истерика, фальшивое надуманное ощущение. Но потом перебивал себя: пусть так, надо же хоть чему-то радоваться...

Жена не любила открывать окна даже летом, боясь сквозняков, к тому же стирала сегодня, и когда он вошёл в квартиру, горячий банный дух принял его в себя. Неуклюже поворачивался в тесной прихожей, задевая руками вешалки на стене, а потом, не раздевшись, присел на корточки и молча ждал, пока жена заметит, что он вернулся.

А когда она вышла из кухни, из последних сил подался к ней.

— Я сейчас видел... счастливых людей, представляешь? — и приятно было, что она, не зная его сегодняшних тревог, воспринимала это как единственный итог поездки на ярмарку.

— А как же тираж? Сумка?

— Всё разобрали... А сумку подарил, не важно...

Жена помогла ему снять промокшую куртку, затем пиджак.

— Я шёл и думал: ведь есть же что-то ещё, кроме нашего поражения, — торопливо рассказывал он, послушно поворачиваясь в её руках, —

есть же в мире гармония, а если есть гармония, то есть и Бог, а значит, ничего не потеряно...

Жена повела его на кухню, скотканым полотенцем протёрла жидкие седые волосы, налила имбирный чай с лимоном, чтобы не заболел. На обед была гречка с печёнкой. “Погоди”, — принялась она разогревать соус, без которого печёнка всегда суховата. Человек достал из серванта початую бутылку коньяка. Жена не любила, когда он пил, но сегодня можно. Опрокинул стопку, начал рассказывать о ярмарке, увлёкся, а жена принялась заниматься домашними делами: почистила сервиз, протёрла пыль с мебели. Он ходил за ней по квартире хвостиком, вспоминая что-то, размахивая руками.

А вечером жена ушла спать, и человек остался на чистой пустой кухне, мелкими глотками допивая коньяк. Перед ним лежал смятый блокнот, в который он записывал обрывки удачных образов. Он жалел, что сегодня слишком много говорил и внутри осталась такая же пустая бутылка, что стояла теперь на столе. Верные слова не находились. Впрочем, он уже не надеялся, как в беспечной молодости, точно схватить отблеск подлинного. Он знал, что так и пишется книги, с ощущением, что между двумя белыми клавишами рояля должна быть чёрная, но как раз в этом месте чёрной нет, и приходится брать одну из двух белых, в сущности любую, и в этом есть твоё смирение перед неуловимой музыкой жизни.

Постепенно вернулась боль в животе. Он старался не обращать внимания: есть же гармония в мире, пусть не я, но кто-то воплотит её, уговаривал он себя, но злился всё сильнее. Наконец, сорвался: да, гармония есть в мире, гармония, а не трагедия — последнее слово мира, но что мне до того, если я — частный случай, если я один, если мне конец. Начал спорить с болью, а та отвечала ему безобразными голосами. Он доказывал ей: вы виноваты, вы и мою жизнь сломали, я был рождён, чтобы смотреть на красивых людей, а вынужден был проклинать чудовищ.

Поднялся и медленно двинулся в спальню. Лёг на кровать рядом с женой и смотрел, как разжижается темнота, а из небытия уродливыми абрисами появляются любимые вещи. Было слышно, как жена дышит, но она уже не могла защитить его. “Может быть, в эволюции я тупиковая ветвь, есть столько религий, а я, допустим, верю не в того Бога, — произносил неподвижными губами. — Но я — всего лишь я, я жил и говорил правду... и тем был полезен кому-то... я ведь был полезен...” В постели пахло потом, становилось зябко. Он попытался отвлечься от боли и растревожить душу воспоминаниями, как днём, но в памяти ничего не осталось.

Постепенно мысль его угасала. Всё прошло, движение замерло. Наступала тихая тёплая ночь.